

Владимир Маяковский

(1893 –1930)

Ночь

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зелёный бросали горстями дукаты,
а чёрным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие жёлтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как жёлтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа – пестрошерстая быстрая кошка –
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул, пугая
ударами в жёсть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочёл я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

Хорошее отношение к лошадям

Били копыта,
Пели будто:
– Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. –

Ветром опита,
льдом обута
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала!
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошёл
и вижу
глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,
течёт по-своему...

Подошёл и вижу —
За каплицей каплица
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы сих плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть,
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.

Рыжий ребёнок.
Пришла весёлая,
стала в стойло.
И всё ей казалось —
она жеребёнок,
и стоило жить,
и работать стоило.

Нате

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
Где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется — и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

Послушайте

Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки

жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —

чтоб обязательно была звезда! —
клянётся —
не перенесёт эту беззвёздную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звёзды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издёргалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушёл.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаюсь, полез через ноты,

сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору –
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришёл к деревянной невесте!
Голова!»
А мне – наплевать!
Я – хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте –
будем жить вместе!
А?»

Тучкины штучки

Плыли по небу тучки.
Тучек – четыре штучки:

от первой до третьей – люди;
четвёртая была верблюдик.

К ним, любопытством объятая,
по дороге пристала пятая,

от неё в небосинем лоне
разбежались за слоником слоник.

И, не знаю, спугнула шестая ли,
тучки взяли все – и растаяли.

И следом за ними, гонясь и сжирав,
солнце погналось – жёлтый жираф.

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче
(Пушкино. Акулова гора, дача Румянцева, 27 вёрст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла –

на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы –
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею –
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И день за днём
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе всё поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шлаться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут – не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать –
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.

В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведа,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого –
жара с ума сводила,
но я ему –
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Чёрт дернул дерзости мои
орать ему, –
skonфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, –
и степенность
забыв,
сизжу, разговорясь
с светилом
постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко.
– Поди, попробуй! –
А вот идёшь –
взялось идти,
идёшь – и светишь в оба!»
Болтали так до темноты –
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»

мы с ним, совсем освоюсь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдём, поэт,
взорим,
вспоём
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить своё,
а ты – своё,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг – я
во всю светаю мочь –
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить –
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой
и солнца!

Юбилейное

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.

Дайте руку
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон;
тревожусь я о нём,
в щенка смиренном львёнке.
Я никогда не знал,
что столько

тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головёнке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок-другой?!
Будто бы вода —
давайте
мчать, болтая,
будто бы весна —
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,
что её
без спутников
и выпускать рискованно.
Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката,-
сядь
на собственные ягодицы
и катись!
Нет,
не навязжусь в меланхолишке чёрной,
да и разговаривать не хочется
ни с кем.
Только
жабры рифм
топырит учащённо
у таких, как мы,

на поэтическом песке.
Вред – мечта,
и бесполезно грезить,
надо
весть
служебную нуду.
Но бывает –
жизнь
встаёт в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через ерунду.
Нами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.
Но поэзия –
пресволоочнейшая штуковина:
существует –
и ни в зуб ногой.
Например,
вот это –
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем –
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
знаю
способ старый
в горе
дуть винище,
но смотрите –
из
выплывают
Red и White Star’ы
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами,-
рад,
что вы у столика.
Муза это
ловко
за язык вас тянет.

Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
— Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днём увижусь я.-
Было всякое:
и под окном стояние,
письма,
тряски нервное желе.
Вот
когда
и горевать не в состоянии — это,
Александр Сергеич,
много тяжелей.
Айда, Маяковский!
Маячь на юг!
Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришёл каюк,
дорогой Владим Владимыч.
Нет,
не старость этому имя!
Тушу
вперёд стремя,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous...
чтоб цензор не нацыкал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже

двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Вот –
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.
Кто меж нами?
с кем велите знаться?!
Чересчур
страна моя
поэтами нища.
Между нами
– вот беда –
позатесался [Надсон](#)
Мы попросим,
чтоб его
куда-нибудь
на Ща!
А [Некрасов](#)
Коля,
сын покойного Алёши,-
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.
Знаете его?
вот он

мужик хороший.
Этот
нам компания —
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни отдав.
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой
однаобразный пейзаж!
Ну [Есенин](#),
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.
Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.
Ну, а что вот Безыменский?!
Так...
ничего...
морковный кофе.
Правда,
есть
у нас
[Асеев](#)
Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.
Были б живы —
стали бы

по Лефу соредактор.
Я бы
и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал:
— вот так-то мол,
и так-то...
Вы б смогли —
у вас
хороший слог.
Я дал бы вам
жиркость
и сукна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.
(Я даже
ямбом подсюсюкнул,
чтоб только
быть
приятней вам.)
Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
Нынче
наши перья —
штык
да зубья вил, —
битвы революций
посерьёзнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
пёрышко держа,
ползет
с перержавленным.
—Тоже, мол,
у лефов
появился
[Пушкин](#).
Вот арап!
а состязается —
с [Державиным](#)...
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.

Навели
хрестоматийный глянец.
Вы
по-моему
при жизни
— думаю —
тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
—А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать,
невольник чести...
пулею сражён...
Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жён.
Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожалению, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.
Мне бы
памятник при жизни

полагается по чину.
Заложил бы
динамиту
— ну-ка,
дрызнь!
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!

Что такое хорошо и что такое плохо

Крошка сын
к отцу пришёл,
и спросила кроха:
— Что такое

хорошо

и что такое

плохо?—

У меня
секретов нет,-
слушайте, детишки,—
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.

— Если ветер
крышиё,
если
град загрохал, —
каждый знает —
это вот
для прогулок
плохо.

Дождь покапал
и прошёл.

Солнце
в целом свете.

Это —
очень хорошо
и большим
и детям.

Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит

на рожице,-
ясно,
это
плохо очень
для ребячьей кожицы.

Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.

Если бьёт
дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.

Этот вот кричит:
— Не трожь
тех,
кто меньше ростом! —
Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!
Если ты
порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрюта говорят:
плоховатый мальчик.

Если мальчик
любит труд,
тычет
в книжку
пальчик,
про такого
пишут тут:
он
хороший мальчик.

От вороны
карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо.

Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.
Этот
в грязь полез
и рад.
что грязна рубаха.
Про такого
говорят:
он плохой,
неряха.
Этот
чистит валенки,
моет
сам
галоши.
Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.

Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребёнок:
вырастет
из сына
свин,
если сын —
свинёнок,
Мальчик
радостный пошёл,
и решила кроха:
«Буду
делать *хорошо*,

и не буду –
плохо».

Шумики, шумы и шумищи

По эхам города проносят шумы
На шёпоте подошв и на громах колёс,
А люди и лошади – это только грумы,
Следящие линии убегающих кос.

Пронесут девоньки крохотные шумики.
Ящики гула пронесёт грузовоз.
Рысак прошуршит в сетчатой тунике.
Трамвай расплещет перекаты гроз.

Все на площадь сквозь туннели пассажиров
Плывут каналами перекрёщённых дум,
Где мордой перекошенный, размалёванный сажай
На царство базаров коронован шум.

Сергею Есенину

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота...
Летите,
в звёзды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом –
не смешок.
Вижу –
врезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
– Прекратите!
Бросьте!
Вы в своём уме ли?
Дать,
чтоб щёки

заливал
смертельный мел?!
Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.
Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.
Критики бормочут:
— Этому вина
то...
да сё...
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина. —
Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду
заливает квасом?
Класс — он тоже
выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостов —
стали б
содержанием
премного одарённой.
Вы бы
в день
писали
строк по сто,
утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.

Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.
Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше
увеличь
изготовление чернил!
Навсегда
теперь
язык
в зубах затворится.
Тяжело
и неуместно
разводить мистерии.
У народа,
у языкотворца,
умер
звонкий
забулдыга подмастерье.
И несут
стихов зауспокойный лом,
с прошлых
с похорон
не переделавши почти.
В холм
тупые рифмы
загонять колом —
разве так
поэта
надо бы почтить?

Вам
и памятник ещё не слит,-
где он,
бронзы звон,
или гранита грань?—
а к решёткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под берёзкой дохлой —
«Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха »
Эх,
поговорить бы иначе
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
— Не позволю
мямлить стих
и мять! —
Оглушить бы
их
трёхпалым свистом
в бабушку
и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,
раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.
Дрянь
пока что
мало поредела.
Дела много —

только поспевать.
Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав —
можно воспевать.
Это время —
трудновато для пера,
но скажите
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,
какой великий выбирал
путь,
чтобы протоптанней
и легче?
Слово —
полководец
человечьей силы.
Марш!
Чтоб время
сзади
ядрами рвалось.
К старым дням
чтоб ветром
относило
только
путаницу волос.

Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.